

СЕРГЕЙ БУЗМАКОВ



ОДИНОКАЯ ИГРА

РАССКАЗ

Было начало мая, и я играл на погребе в войну.

В отличие от лапты, чехарды, выбивалы, прятки, догоняшек и прочих игр, в войну я любил играть один и быть хозяином во всем. Я был полководцем и рядовым, нашим и фрицем, в моем распоряжении был целый арсенал: винтовки Мосина и автоматы ППШ, “шмайссеры” и зенитки, гаубицы и гранаты, истребители и бомбардировщики, танки и автомобили — звуки, взрывы, выстрелы которых я старательно имитировал голосом. Выпуклая же поверхность погреба, находящегося в углу нашей большой ограды, была высотой “...у незнакомого поселка, на безымянной высоте...”, где и разворачивались сражения.

В самом начале игры я уточнял хронологию — когда это происходило, да и вообще стремился к частым ремаркам и повествовательности, правда, наказывал себе: в пылу боя не раскричаться сверх меры — не привлечь внимания окружающих. Мне было стыдно за такую одинокую игру, но какое-то азартное ощущение было во мне в такие минуты.

Происходило это примерно так.

БУЗМАКОВ Сергей Валентинович родился в 1964 году в селе Березовка Тюменцевского района Алтайского края. Выпускник исторического факультета Барнаульского государственного педагогического института. Служил в Советской армии, работал учителем в школе, корреспондентом краевых и городских газет. Автор книг прозы: “Напиши мне письмо”, “Нагорные записки” и других. Лауреат Всероссийской литературной премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. Член Союза писателей России. Живет в Барнауле.

...Июль сорок первого. Лесная пыльная дорога. Полуторка. В кузове 12 бойцов. В кабине с шофером (я рулю) капитан — усталый, в выгоревшей на солнце гимнастерке.

— Эй! Эй! Стойте! Подождите! — раздаются крики со стороны.

— Ну-ка, притормози... — Капитан высовывается из кабины — из кузов к дороге бегут красноармейцы.

— Товарищ капитан, разрешите обратиться! — Руку к виску, на голове пилотка (выклянчил в прошлом году у солдат, приезжавших к нам на уборку урожая). — Сержант Ляхов, 3 рота 215 пехотного полка. Выходили из окружения, напоролись на танки... Командир, политрук, взводные убиты, в моем подчинении шесть бойцов.

Капитан, изучив документы:

— Оружие имеется?

— Так, точно! 4 винтовки, станковый пулемет и с ним цельная лента, две гранаты... и вот автомат трофейный...

— Ладно, полезайте в кузов.

Мотор полуторки устало: ж-ж-ж-жу-жу...

Капитан:

— Так, значит, нас теперь двадцать один... Ну, ничего... выберемся... — обращается к шоферу. — Ты откуда, браток, родом?

— С Орловщины, товарищ капитан, колхоз “Слава труду”.

— А... почти земляки, я из Липецка... Невеста, поди, есть?

— Так точно, есть.

— А у меня брат, жена, сыну три года... В отпуск ждали... у родителей моих живут...

— Немцы!!!

— Тормози, землячок! В сторону!

Рулю, отчаянно выкручиваю баранку вправо.

Немцы на мотоциклах: др-др-др!.. Длинная вереница.

— Ложись! — кричу за капитана. — Слушай мою команду! Без приказа огня не открывать! Патроны беречь! Гранаты на крайний случай!

— Хенде хох! Русиш швайне, сдавайсь! — меняю голос и гундосю.

— Огонь! — кричит капитан.

— Туф-туф-туф! — винтовки Мосина.

— Тыиф-тыиф... цийть-цийть... — фонтанчики песка, срезанные ветки.

— Туф-туф-туф!..

— А-а-а!.. Доннер ветгер! — знаю по фильмам это немецкое ругательство.

— Тыиф-тыииф-тыиифшшш... — противный стрекот “шмайссеров”.

— Капитан! Капитан! Ранен? — не отвечает.

— Окружают! — кричит сержант.

Перебегаю от погреба к углу забора.

— Без паники! Патроны беречь! — раненый капитан, хромая, перебегает от дерева к дереву (от угла забора к курятнику). — Отходим! Сержант! Прикроешь! Положи их, гадов, к земле прижми и догоняй! Вот тебе гранаты.

— Понял, капитан.

Сержант ложится за станковый пулемет, раскладывает перед собой гранаты — два сосновых сучка, полая железная труба — станковый пулемет.

— Ту-ду, ту-ду... А-а!

Корчась от боли, оседает рыжеволосый Ганс, еще один нелепо взмахнул руками...

— Ту-ду-ду-ду...

— Пф! Пуфх! — немцы швырнули гранаты.

Сержант Ляхов оглушен. Пулемет заклинило. Я отбрасываю его в сторону...

Короткая пауза, тихо. Перевожу дыхание и становлюсь немцем:

— Иван! Сдавайся! Га-га-га! Вилазь, Иван!

— Ббухф! — сучок летит в сторону курятника, попадает в стенку.

— Ага! Взяли?! — немцы падают, потом поднимаются, идут ближе, ближе.

— Врешь! Живым не дамся! — встаю, рука за спиной, там граната.

Немцы ближе, ближе... Сытые рожи, воспаленные глаза...

— Ббухф!!!

Медленно оседаю, сучок-граната валяется рядом. Лежу на крышке погребца, небо, тишина, непрощенная курица заинтересованно косится на героя... Внутри меня музыка! — "...нас оставалось только трое из восемнадцати ребят..."

...Лесной овраг. Смеркается. Капитан, вокруг него оставшиеся в живых солдаты, курят в ладони (подобрал соломинку, мусолю жадно и украдкой). Капитан с планшетом на коленях (небольшая гладкая дощечка):

— Эх, сержант, сержант... Погиб смертью храбрых! Итак, наша задача: к рассвету попытаться выйти к сороковому километру шоссе Минск—Бобруйск, там наверняка наши...

— Сынок! — мамин голос откуда-то из-за линии фронта. — Кушать пошли! Стынет все!

— Сейчас, мам! — надо же, как не вовремя!

...В 1975 году была радостная и погожая весна. С кем, впрочем, ни поговорю из старших товарищей, все про снег, выпавший на тогдашнее 9 мая, вспоминают. Но не помню я этого, не помню! Радостной и погожей, упрямо повторю, та весна мне запомнилась...

Снег сошел быстро, и тотчас без пасмурных пауз, дружно и уверенно стала пробиваться к свету зелень. Словно сама погода понимала, что к чему: готовилась со всем честным людом отпраздновать тридцатилетие Великой Победы.

По телеку каждый вечер показывали фильмы про войну, глубоко волнуя меня, десятилетнего, и возбуждая. После них с особым воодушевлением устраивал я погребные батальи.

...Я готовился отражать очередную танковую атаку. Солдаты, переждав авианалет, поднимались со дна полубовалившегося окопа, отряхивались, занимали боевые позиции... Молоденький лейтенант горячился, кричал, потопливал... И стоп!

У калитки стояли запыхавшиеся, празднично одетые Мишка и Толик — мои одноклассники. Я сбежал с погребца и, стараясь как можно беззаботнее насвистывать, пошел к ним.

— Ты че, Серый, сдурул? Там же собрались, начало скоро, а ты? Полине Михалне (наша учительница) из-за тебя попало, злющая! Давай мигом!

Екалэмэнэ! Совсем завоевался! Ведь сегодня "там", то есть в клубе, торжественный вечер в честь Дня Победы, который наступит завтра. Сначала торжественное собрание, потом концерт, а в концерте главная ударная сила — мы, школьники. Скорее! Умываюсь. — "Шею лучше мой!" — покрикивает мама, белая рубашка, отутюженные заранее брюки, пионерский галстук... Скорее! Бегом, бегом! Только пыль столбом да злость на самого себя: как же это я забыл? Ведь предупреждали, говорили: собираемся за два часа до начала — еще раз прорепетируем... Мама больше меня разволновалась, расстроилась — вот так сынок! Отчебучил, даже прибежали за ним.

Клуб — кирпичное, оштукатуренное и побеленное здание, приземистое, с узкими серыми окнами, сгнивший в некоторых местах пол и не соскребаемая часть богатейшей коллекции автографов на стенах. Репетиция заканчивалась. Стыдно мне было, извинился, чтобы вину загладить, старался всюю, читая отрывок из "Василия Теркина", а "свои слова" из общего приветствия декламировал так громко, что покраснел от натуги.

...Постепенно зал наполнялся.

На жесткие, обитые коричневым дерматином, в четырехместную обойму скрепленные сиденья поначалу расслаживались женщины с малыши ребятами да "белые вороны" из мужиков — к табаку равнодушные, большинство же дымило на воздухе перед входом, ждали до последнего, пока не выйдет заведующий клубом и не скажет, правда, перед этим тоже иссосав жадно папироску — день выдающийся, хлопотный, нервительный:

— Ну, пошли, мужики! Заходим, заходим...

Заходили, басовито галдя, посмеиваясь и перешучиваясь, принося с собой запах табака и солярки — снисходительной к мылу и одеколону. Мест для всех, как обычно в таких случаях, не хватало. Заносили в зал из небольшого фойе стулья. Заходили к нам, участникам концерта, в боковую от сцены комнату и тоже, после недолгих препирательств, забирали так нужные нам в это время стулья. Когда сидишь на стуле — не так дрожат ноги в коленках. И вот забирают. И стой, и пытайся сделать так, чтобы эту дрожь не заметили.

Я выглядывал в зал с каким-то непонятно-метительным желанием усилить трепет внутри себя. Народу!..

Неартистическая пацанва была согнана на пол, расположилась прямо перед сценой. А на сцене, за столом, покрытым красной скатертью, с неизменным граненым графином с водою (другой графин стоял на трибуне) и ведерком с цветами уже сидел президиум: директор совхоза, председатель сельсовета, секретарь парткома и фронтовики. Их, фронтовиков, тогда еще много было в живых, и потому в президиум приглашали тех, у кого путь боевой подлиннее, наград побольше.

Поднимался секретарь парткома, выжидал, пока стихнет гул в зале, и представлял слово для доклада председателю сельсовета. Председатель выходил к трибуне, и всем в зале сразу становилось видно, какой он здоровый, крупный, налитый силою мужик. Поскольку директор совхоза был далеко не оратор, а секретарь парткома имел голос не только тихий, но и с какой-то противной дребезжинкой, то на торжественных собраниях докладчиком всегда оказывался председатель сельсовета. Микрофон ему не требовался... Председатель откашливался, и его громовой, столь почитаемый испокон веков на Руси голос овладевал залом.

Начинал он по бумажке, склонившись над низкой для него трибуной, обхватив ее по бокам своими ручищами. Он читал, немного раскачиваясь из стороны в сторону, и, как всегда бывает, поначалу слушали его внимательно. Приятны, ласкают слух любые слова, цензурные, конечно, выстроенные в слитные предложения, даже самые затасканные, после тарахтения рева моторов, мычания коров и производственной лексики, славящейся, как известно, своей особостью.

Минут через пять председатель проехал кашлем, потянулся к графину, налил полный стакан и залпом выпил, крикнув по обыкновению, но несколько растерянно и удивленно, что, мол, за гадость влил в организм?

Такое его поведение послужило своеобразным сигналом и вызвало у мужской части зала самые приятные ассоциации. Они стали оборачиваться друг к другу, перемигиваться, зашептали басовито, стал слышен звон орденов и медалей. Пацанва на полу, не стесняясь близости к президиуму, и вовсе вступила в прыскающую, и даже с тумаками, перепалку. Только женщины дисциплинированно молчали, с напряжением глядясь в освещенное пространство сцены, да и то не все. Кто-то из малышни запросился по нужде и не внимал просьбам родителей о терпении до тех пор, пока не добывался своего и под укоризненно шепчущим конвоем продирался к выходу.

И у нас в боковушке тон брался все выше и выше, спадая лишь в те мгновения, когда секретарь парткома оборачивался и смотрел в проем двери, соединяющей боковую со сценой, взглядом, не сулящим нам ничего хорошего.

Докладчик, пытаясь выправить положение, стал прибегать к импровизации. Это несколько помогло. И закончил он так:

— Потому, товарищи, для всех нас праздник этот самый дорогой, самый... самый такой... (председатель потряс кулачищем). Подумайте, ведь 20 миллионов павших, а не сдались! До Москвы дошел враг, а мы его за шиворот — да до Берлина! Те, кто ровесники мои, помните? На быках пахали женщины, мы, ребяташки, лепешки из лебеды ели, да? И что — взял он нас, поработил?! Вот как ему вышло (кулак видоизменился в дулю). И сейчас много охотников поднять нас, америкашки, эти... узкоглазые... как кролики плодятся... Только ни... словом, ничего у них не получится! Как поговорка есть правильная: кто с мечом к нам придет, тот, стало быть, от меча и погибнет. И молодежь наша, что сейчас армию проходит, сколько писем

благодарственных родителям шлот, а? То-то же! Одним словом, товарищи, в заключение своей речи, доклада своего, разрешите от администрации совхоза, от себя лично всех вас поздравить с праздником, особенно наших дорогих ветеранов — и тех, кто на пенсии, и тех, кто работает по-прежнему. Долгих лет вам жизни пожелать хочу, здоровья и чтобы... в общем, всего хорошего вам всем!

И под дружные хлопки мозолистых ладоней председатель сошел с трибуны, сел в президиум и осушил залом второй стакан.

Затем выступал дед Леша Гусятников, полный кавалер орденов Славы... Да какое там выступал!

Сказал, страшно робея, запинаясь, экая и мыкая несколько слов и — скорей к столу, от которого, впрочем, недалеко и отходил, не осмелясь штурмовать трибуну. Героев Советского Союза в нашей деревне да и в других входящих в совхоз деревнях не было, в районе — да, пять Героев, один из них Александр Грязнов, еще в самом начале войны заслужил посмертно, а у нас Героев не было, ну не было, так уж получилось, но полный кавалер орденов Славы — это о-го-го! Я уже разбирался, помешан был на истории войны, шпарил фактами и цифрами и знал: таких, как деда Леша, по стране всего-то около двух с половиной тысяч.

Вот он, дед Леша — один был в районе такой. И слово ему всегда первому из фронтовиков предоставляли. И всегда вот так выходило... А ведь он такой невзрачный и увальень с виду, пленил лично фашистского офицера, подорвал в одном бою три танка и уже в Пруссии умудрился захватить неприятельское знамя...

Сел на место деда Леша, и мне, сбоку смотревшему на него, подумалось, что вот сейчас, наверное, выговаривает он себе и за эту робость неискоренимую перед всякой кумачовой трибуной, а может, досадует, как можно, наверное, досадовать спустя тридцать лет: угораздило меня этим самым полным кавалером стать...

Я смотрел на все происходящее сбоку и, естественно, весь зал мне был не виден, только часть его, смотрел сбоку, издали, но казалось мне, будто витаю я над залом, смотрю, разглядываю жадно лица сидящих людей, моих земляков, всматриваюсь в них...

Я словно предчувствовал и недолговечность такого моего состояния, и следующие за этим какие-то недобрые изменения. А я не хотел изменений, никаких! Мне было странно как-то хорошо. Я был един со всеми сидящими в зале нашего клуба. Был частицей своего народа, пусть и слабенькой еще, с нередкими соплями под носом, боящийся темноты и вечеров с пьяным папой, но ЧАСТИЦЕЙ СВОЕГО НАРОДА.

Пусть будет так всегда, как сейчас, просто и хорошо. Просто — потому что все вместе, миром, без скандалов и вытрепонов. Хорошо — так как завтра Девятое мая и сегодня такое... такое распирающее душу предчувствие народного праздника, что все сразу путается, стоит только попытаться объяснить, что к чему...

...Среди выступавших фронтовиков бойчее всех был Кирилл Леонтьевич.

В отличие от деда Леша — неторопливого в движениях еще и потому, что этим пытался он скрыть свою хромоту, не врожденную, конечно, — Кирилл Леонтьевич был сухоньким, легким на подъем, с тем встречающимся в крестьянской среде навязчивым желанием выглядеть как бы поинтеллигентнее — как с виду, так и в разговорах, этим и объяснялась его страсть к вычурным и красиво-непонятым словам: “интенсивный”, “контингент”, “экспансия”. А действительно ли ему нужны очки, которые он беспрестанно то снимал, то надвигал на кончик носа, или же так — для форса? — подобное никто толком объяснить не мог.

— Ну! Этот счас поговорит! — посмеивались мужики.

Воевать Кириллу Леонтьевичу довелось уже в самом конце войны, в Румынии. Полк, в котором он служил, войдя в эту страну, там и остался. Это обстоятельство, конечно, влияло на воспоминания Кирилла Леонтьевича.

Вершиной устных мемуаров Кирилла Леонтьевича оказался случай, из которого выходило, что однажды он в одиночку пленил два взвода румын-

ских солдат... Однако Кирилл Леонтьевич скоро осознал, что хватил лишку и ловко перевел разговор к делам международным, разнеся в пух и прах политику стран НАТО.

После перерыва был концерт. Он запомнился мне как-то смутно. Помню только отчетливо, что, читая отрывок из “Василия Теркина”:

*...А боец зовет куда-то,
Далеко легко ведет.
— Ах, какой вы все, ребята,
Молодой еще народ, —*

я немножко досадовал на себя: голос мой, звонкий, мальчишеский, не подходил под тихо подыгрывающий баян. Жидковато получалось, но хлопали мне с удовольствием, кажется.

...Кончилось детство, настало прощание с пленительным таинством одинокой игры, — игры, где был я абсолютно искренен и счастлив. И оттого, может, трепетало сердце, что чувствовало: подступает, подкрадывается пора иных игр, в которые мы так самозабвенно играем всю жизнь. А может, тогда было больше на свете любви, честности и тепла, чем зависти, пошлости и обмана, и самого света больше было?

А потом? Потом что же? Что нас повернуло и кто память нам отшиб? Или сделал так: память — это одно, а дела и поступки — другое? И почему мы не захотели понять, прочувствовать — что же это была за война и что же это была за ПОБЕДА? Почему наша национальная северными ветрами и южными нашествиями созданная и проверенная на прочность, историей измеренная государственная крепь так легко истаяла в искрящемся карнавале чужеземных, заморских идеек и посулов? Почему?

Сейчас, когда рассуждают на полном серьезе говорливые мужи о том, что войну-то эту не мы выиграли, то есть кто это — мы?.. вы?.. — все спуталось, все смешалось... Словом, скорее проиграли войну-то...

А может, просто кора земная во всем виновата? Да-да, кора! Где-то она трещит, понимаешь, колебания разные, разломами зияет, а вот не захотела, закапризничала... и не разверзлась там, где надо, и не пустила к нам самого такого... из тех... братских могил... Посланца... и не вышел он к нам, и не крикнул, а что бы он крикнул, я точно, слово в слово знаю... крикнул бы он: “Что же вы, суки, нас предали?”

И без многоточий.